

Иван Иванович Лажечников

# Беленькие, черненькие и серенькие



Иван Лажечников

**Беленькие, черненькие  
и серенькие**

«Public Domain»

1856

## **Лажечников И. И.**

Беленькие, черненькие и серенькие / И. И. Лажечников — «Public Domain», 1856

«Под этим заглавием выдаю историю одного семейства и портреты некоторых его современников. Семейство это знал я с первых годов моей юности. Последний представитель его, Иван Максимович Пшеницын (вымышленная фамилия, как и все прочие, упоминаемые в этом временнике), умер в конце прошедшего года, назначив меня своим душеприказчиком...»

## Содержание

Тетрадь I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	23

## Иван Лажечников

### Беленькие, черненькие и серенькие

Под этим заглавием выдаю историю одного семейства и портреты некоторых его современников. Семейство это знал я с первых годов моей юности. Последний представитель его, Иван Максимович Пшеницын (вымышленная фамилия, как и все прочие, упоминаемые в этом временнике), умер в конце прошедшего года, назначив меня своим душеприказчиком. Разбирая его бумаги, я нашел в них несколько рукописных тетрадей, хранившихся вместе под одной обложкой, на которой была затейливая надпись: *«Беленькие, Черненькие и Серенькие – списаны на поучение и удовольствие моих потомков»*. Каждая тетрадь носит свое собственное заглавие и имеет свое содержание. Так, в первой идет рассказ о жизни семейства Пшеницыных в *Старом доме*; во второй – помещены портреты *Замечательных городских личностей*; третья, под заглавием: *Соляной пристав*; в четвертой опять описание жизни семейства Пшеницыных в *Новом доме*; затем описание их жизни в *деревне*, со включением портретов *Замечательных деревенских личностей*, и так далее. Все тетради составлены из разных лоскутков, беспорядочно сшитых.

Списаны на поучение и удовольствие потомков? – думал я; следственно, автор желал, чтобы по смерти его рукопись была издана. Воля покойника священна для душеприказчика его. Исполняю эту волю, как полагаю, лучше.

Кажется, сочинитель временника желал, но, вероятно, не успел или поленился соединить свой рассказ в более стройное целое. Это заметно из того, что он дал всем тетрадям одно общее заглавие; сверх того, в описаниях современников его нередко упоминается о том или другом из членов семейства Пшеницыных, имевших с самими оригиналами портретов сношения и связи. В подлинной рукописи оказывались пробелы, возбуждавшие некоторые занимательные вопросы о характере и жизни Пшеницыных. Для разрешения этих вопросов обращался к собственным своим воспоминаниям, так как многие события, касающиеся этого семейства, проходили перед моими глазами. Все это, где нужно и возможно было, связал я и дополнил собственными заметками и дорисовкой, как живописец склеивает и подправляет старые картины, в разных местах прорванные. Таким образом составил я нечто целое, сколько позволила мне форма, в которую автор облек свои произведения. При сочинении оставил я название, данное ему самим завещателем, по пословице: «всякий барон имеет свою фантазию». Об Иване Максимовиче говорю в третьем лице, как и он говорил о себе. Может быть, в труде моем и видны белые нитки: что ж делать? я выполнил его по разумению моему и по возможности.

Представляю этот сборник суду читателей, как издатель и отчасти автор его. Прошу помнить, это не роман, требующий более единства и связи в изображении событий и лиц, а временник, не подчиняющийся строгим законам художественных произведений.

Необходимо еще оговорить, что он начинается с последних годов XVIII столетия и доходит до двадцатых годов XIX. Как видите,

дела давно минувших лет!

## Тетрадь I

### В старом доме

Иван Максимович Пшеницын родился в уездном городке Холодне. Вы не найдете этого города на карте. Однако ж, для удобства рассказа, я поместил его верстах в ста от Москвы. Хотя эта уловка похожа на хитрость, кажется, страуса, который, чтоб укрыть себя от преследований охотников, прячет свою голову и туловище в дупло, а оставляет хвост наружу, но, несмотря на то, что в вымышленном названии месторождения Пшеницына виден хвост, я все-таки, по некоторым уважительным причинам, прячу лицо в это дупло.

Иван Максимович помнил из первых годов своего детства жизнь в этом городке, на Запрудье, в каменном одноэтажном домике, с деревянной ветхой крышей, из трещин которой, на зло общему разрушению, пробиваются кое-где молодые березы. Она испещрена наростшим на нее мхом разных цветов. Верхи стен окаймлены зеленью плесени в виде неровной бахромы. В окнах железные решетки. Когда мальчик впоследствии перешел на новое жилище, ему долго еще чудились жалобные стоны от железных ставней, которые так часто, наяву в темные вечера и сквозь сон, заставляли жутко биться его детское сердце. Памятен ему был даже сиплый лай старой цепной собаки и домик ее у ворот, такой же ветхий, как и господский. Увидав мальчика, она с визгом бросалась к ногам его и лизала ему ручонки, забывая сытную подачку, которую он приносил ей от своего стола. В комнатах темно, пахнет затхлым; мебель старая, неуклюжая, обитая черной кожей; все принадлежности к дому разрушаются, заборы кругом если не совсем прилегли к земле, так потому, что подперты во многих местах толстыми кольями. Дом стоит на огромном пустыре. Сзади, на несколько десятков сажен, ямы и рытвины, из которых, вероятно, много лет добывалась глина. Зато далее какой чудный вид из двух калиток, обращенных на запад и полдень! На возвышении кругом в два ряда высятся к нему столетние липы: они с воем ведут иногда спор с бурями, и, несмотря на свою старость, еще не сломили головы своей. «Это стонет змей Горыныч, который провалился тут сквозь землю», – говорила няня, употребляя орудия страха, в числе прочих своих убеждений, чтобы неугомонное дитя перестало возиться и заснуло. Отец же сказывал, что тут был просто-напросто пруд, давно высохший и давший целому кварталу города название За-прудья.

Далее видно поле. В иную пору года подернуто оно зеленым бархатом, в другую – появляется на нем роскошная жатва в рост человеческий. Малютка любит, как ветер по ней то бежит длинной струей, то, играя, вьет завитки, то гонит волны перекатные или облако цветной пыли, обдающей его какой-то благоуханной свежестью. О! как весело мальчику броситься и утонуть в густой ржи! как он нежится в этом лесу колосьев! Но вот зарделась вечерняя заря. Будто на небе где-то распахнулись настежь ворота и понесло через них холодком; роса пала на землю, жаворонки замолкли; зато закудахтали перепела, загорелся неугомонный крик дергачей. Таинственно выходили из калитки дядька Ларивон и барчонок, как он называл своего питомца, хотя Ваня только сынок купеческий. Будто крадутся они от людей для какого-нибудь худого дела, ныряя в глиняных ямах и рытвинах, помимо протоптанных дорожек. Вот показалась темная полоса, и над ней переливается золотистая поверхность; еще далее, и для Вани закрылся румяный горизонт – он ничего не видит, кроме стены высокой жатвы. Дядька дает ему знак, чтобы он присел, а сам заботливо устраивает западню. Ваня садится на корточки, притаив дыхание. Засвистала дудочка тихо, нежно, будто замирает голос птички. Крик перепела встрепнулся где-то вдали, потом бьет ближе, живее; дудочка ему отвечает, и вот повели они промеж себя любовный разговор. Еще минута, – и какой-то клубочек упал в рожь, что-то стукнуло... Попал! – кричит дядька, и мальчик опрометью бежит на этот крик, путается и падает во ржи. Наконец пойманная птичка в его руках. Как будто в лад бьется сердце у нее и

у того, кто ее держит. Он целует ее, называет ее самыми нежными именами, утешает, говорит, что ей будет хорошо жить у него. Восторгам малютки нет конца.

Подле полуденной садовой калитки, у наружной стены забора, лицом к городу, Ваня, с помощью дядьки, устроил себе скамеечку. Тут он, иногда с матерью, иногда на коленях пригожей соседки, купеческой дочери, которая очень ласкает его, и даже один, засиживается по целым часам. От ножек скамейки начинается зеленый скат к реке Холодянке. Вот спешит и все спешит она унести свои воды в реку, которая издали будто манит ее к себе. На пустынной Холодянке ни одного челнока, берега тесно сжимают ее; а там какое раздолье! Полногрудая красавица кокетливо выказывает только край своей голубой ферязи, только мелькают разноцветные ленты, развевающиеся на бесчисленных мачтах ее караванов. И вот почему речка так суетливо торопится все вперед и вперед! Казалось бы, немного добежать и броситься в широкое раздолье, а тут, назло ей, загородила дорогу колдунья-мельница. Брюзжит старушка, и стучит костылями, и поднимает пыль столбом. Смирные до сих пор воды сердито бросаются на нее; начинается схватка – вопль, тревога на всю окрестность... Но вот вырвались они из плена. Вспененные, весело, игриво, как бы радуясь своей свободе, они бросаются в широкие объятия М-ы реки, которая сама спешит отнести свою добычу ожидающей ее неподалеку О – е. Влево, между мельницей и кожевенным заводом, стоящим в Запрудье, виден вдаль Ба – ев монастырь. Туда Ваня ездит иногда на богомолье со своей матерью. Там лик Спасителя так приветливо на него смотрит, а добрый старец-архимандрит, благословляя его и давая ему свою ручку поцеловать, всегда жалует его просвирой. За монастырем тянется мрачный лес, которому конца не видно. Вправо, против мельницы, на отвесной вышине, одиноко стоит полуразвалившаяся башня, которая, как старый, изувеченный инвалид, не хочет еще сойти со своего сторожевого поста. Кругом все развалины. В нескольких саженьях от нее начинается гряда камней, все идет возвышаясь, сливается потом в сплошную стену и, наконец, замыкается высокой угловой башней. Это отрывок кремля, построенного в давние времена от нашествия татар. Широкая стена, которая поворачивает влево от этого угла, более уцелела, несмотря на то, что она беспрестанно расхищалась на разные постройки, казенные и из-за них частные.

Со скамеечки Ваня видит почти всю панораму города с золотой главой старинного собора и многими церквями. Насупротив стелются по берегу Холодянки густые сады. Весной они затканы цветом черемухи и яблонь. В эту пору года, в вечерний час, когда садится солнце, мещанские девушки водят хороводы. Там и тут оглашается воздух их голосистыми песнями. Ваня заслушивается этих песен, засматривается на румяное солнышко, которое будто кивает ему на прощанье, колеблясь упасть за темную черту земли; засматривается на развалины крепости, облитые будто заревом пожара, на крест Господень, сияющий высоко над домами, окутанными уже вечерней тенью. Только нежный голос матери сквозь калитку или приказание дядьки могут оторвать его от этого зрелища. Станный был мальчик!

Ларивон водит часто его в ближайшую березовую рощу, раскинутую по двум скатам оврага. Будто для Вани расчищена она, будто для него устроены в ней концерты разноголосых птичек, для него по дну зеленого оврага проведена целая дорожка незабудок и везде рассыпано столько разнородных цветов, красивых, пахучих. И куда только пестун не водил своего питомца по окрестностям, по каким рощам они не бродили! Но «умысел другой тут был». Ларивон был страстный соловьиный охотник. Он ловил, покупал, брал в учение и продавал соловьев. Не только что в комнате его все стены обвешаны клетками едва не до полу, но и в зале, в гостиной, висят их по две, по три. Как скоро Ларивону было свободно (он в доме исполнял должности дядьки, слуги иногда и приказчика), сейчас принимался он за свои лекции. Начинались они тем, что профессор брал вилку и ножик и шурканьем одной на другом поднимал пернатых к пению. Потом высвистывал колена на разный лад, так что вы не могли разобрать, губы ли его пели или соловей. Это был настоящий орган. Иногда, забывшись на самых нежных или горячих переживаниях, он закрывал глаза, как настоящий соловей, когда восходит до пафоса своего

пения, – и с замирающим свистом, изнеможенный, опускался на стул. Не подумайте, чтобы одна корысть питала в нем эти занятия; нет, это была истинная страсть – он был охотник. И вот ради каких побуждений таскал он своего питомца по всем кустарникам и рощам, которые были в окрестностях. Случалось им увлечься так далеко, что малютка приходил домой без ног, или пестун на руках своих приносил его спящего, иногда в венке из ландышей, перевитых кукушкиными слезками и васильками. Поэтому-то Ваня рано стал любить *природу*, рано стал сочувствовать красотам ее. Никогда не отговаривался он от этих прогулок, как бы ни утомительны они были для него.

В доме все любили и уважали Ларивона, не выключая и самих родителей Вани, которого отдали, казалось, на безотчетное его попечение. Надо сказать, что и дядька не употреблял во зло доверия своих господ – как называл и почитал их, потому что был приписан к заводу, принадлежащему Пшеницыным. Воспитанник не видал от него сердитого толчка, не только розги (которая, правда, ни от кого никогда не была на малютке); никогда бранное слово не вырывалось из уст воспитателя, а если нужно было сделать выговор, так это делалось во имя *стыда*. «Эх! Как вам не стыдно, Иван Максимович, – говаривал он в минуты крайней необходимости, когда видел непростительную шалость своего питомца, – этого и бурлак не делает». За резвость и не думали взыскивать; дядька находил ее приличной мальчику. «Любо смотреть, – говаривал тот же природный наставник, – любо смотреть на молодого коня, когда его выпустят погулять. Шея его словно лебединая, грива встала крылом, ноздри огнем горят, из-под ног мечет он искры и землю – вольный конь летит с вольным ветром взапуски. А свинья только что роется в своей поганой луже, да спит в ней, зарывшись в грязи; за то свиньей и прозвали». Слово *стыдно* так запечатлелось на душе малютки, что он и во всех возрастах, во всех случаях жизни чтил его свято, как одну из заповедей Господних. Первому лепету молитвы няня выучила ребенка, но молиться с благоговением – Создателю Господу Богу – внушал ему дядька, который сам всегда так молился, иногда со слезами на глазах. Ларивон любил очень странников-богомольцев и слушал с упоением простосердечной души беседы их о житии святых и мучеников.

Все это любил он горячо; за господ своих готов был *положить живот*. В честности его были так уверены, что не раз поручали ему большие суммы. Усердию его, нежной заботливости о них не было границ. Когда они бывали по дорогам, он первый усматривал опасный кособор, мигом слетал с козел и, как новый Атлас, принимал на себя всю тяжесть склонявшегося экипажа. В топких местах, а их было тогда много и по большим дорогам, он первый возился с колом, чтобы вырвать из грязи захваченное ею колесо. Ларивон не рассуждал, надорвется ли от этого усилия или изломает свои кости, он думал только о безопасности своих господ. Заботливый до бесконечности, он просыпался в три часа, если ему велено было встать в четыре. Не полагайте, чтобы это был старик: ему считали с небольшим тридцать лет. Сложенный как богатырь, он имел и силу исполинскую. Лицо у него было очень мало по росту и детски-добродушно. Говорят, что в физиономии каждого человека есть какой-то отпечаток звериного или птичьего первообраза; можно сказать, что в его физиономии было что-то соловьиное.

Нянька Домна, имевшая в это время ключи от всех кладовых и амбаров, была тоже редкий человеческий экземпляр. Вся жизнь ее прошла в няньчении и хозяйстве; в этих только занятиях сосредоточены были все ее помыслы и чувства. Она выняньчила мать Вани и успела выдать ее замуж; выняньчила Ваню и сдала его дядьке, румяного, разумного. Сколько бессонных ночей напролет провела она над кроватями своих питомцев, когда они бывали больны! Сколько гнула она спину – и почаще деревенских жниц – чтобы выучить их ходить! Зато сама ходила крюком. А чего стоили ей заботы и опасения, не сглазили бы ребенка, не выучили бы его соседние ребятишки худым словам! Взгляд его, движение, намек, тревожное слово или улыбка во сне – все это умела она перевести на свой сердечный язык. Бывало, удастся ей двумя иссох-



шими руками поймать Ваню, вертлявого, как выюн, за кудрявую головку, и целует, целует ее, – вот единственное наслаждение, которое вознаграждало старушку за тяжкие труды многих лет!

В числе прислуги была еще старая кухарка Акулина, мать Ларивона. Ее считали первой особой в домашнем штате. Чрезвычайно дородная, с зобом в три этажа, смотревшая на всех с высоты, она походила на важную купчиху. Никого не удостоивала она низким поклоном, даже господ своих, а только едва заметным киванием головы. Если нужно было господам о чем посоветоваться, приглашали Акулину, как женщину старшую в доме, бывалую и разумную. На этом совете обыкновенно решал ее голос, которому покорялась и сама Прасковья Михайловна (так звали Ванину мать). Акулина превосходно готовила кулебяки, всякие похлебки, холодные и жаркие, квасы, меды, мочила отличным образом яблоки и умела сохранять свежие до новых. Она же с таким складом и прибаутками рассказывала сказки, что ее не только Ваня, но и большие заслушивались. Дар этот перешел и к сыну ее Ларивону.

Да еще в доме был кривой кучер Кузьма, горький пьяница, который на старой сивой лошади возил и воду, и воеводу.

В доме не очень любили его: хозяйка за то, что был груб и запрягал лошадь по два часа; Ваня за то, что бранил и бивал больно железную лошадку, как называл он ее по цвету масти; ключница за то, что воровал овес, и краденые деньги пропивал; Ларивон – вообще за беспорядочную жизнь; кухарка – за то, что был нечистоплотен и даже подле *Божьего милосердия* нюхал проклятое зелье. Под носом у него всегда оставалось гнездышко табаку. Серые, налитые кровью глаза его смотрели недоброжелательно. Он сам не любил никакой твари. Если б не Ваня и Ларивон, старый пес, оберегавший дом, давно помер бы с голоду. А чего не доставалось от Кузьмы его жертве, сивой лошадке? Кузьму терпели, потому что некем было заменить его.

– Что вы лааетесь: кривой да кривой? – говаривал он, отделяваясь от брани дворовых. – Не своей охотой, Божья воля! Был хмелен, да наткнулся на какой-то сук. Слепнуть бы вам всем!

Вздумалось однажды этому грубияну отплатить своей госпоже за какой-то сердитый выговор. «Купчиха! больно спесива! – говорил он вслух сам с собой, запрягая лошадь и коленкой посылая ей в бок удар за ударом. – Вишь какая знать! Давай мне денег, и я буду купцом не хуже вас. Были мы прежде генеральские – не таких возили».

И вот едет Прасковья Михайловна куда-то в гости, в четвероугольной линейке, с порыжелыми кожаными фартуками. Вдруг лошадь останавливается против *красных рядов*, на самом бойком месте в городе. Возничий опускает вожжи, преспокойно достает тавлинку из-за голенища сапога, запускает в нее концы своих пальцев и готовится вложить заряд в свою широкую ноздрю... Послышался смех лавочников; но вслед за тем мелькнула белая ручка в шелковых перчатках, что-то горячее стегнуло Кузьму по щеке; щепоть табаку и тав-линка, вместе с кусками перламутрового веера и играющими на нем амурами, далеко полетели в сторону. «Пошел! я научу, как со мной шутить!» – раздался тонкий, но повелительный голос Прасковьи Михайловны. Возничий, невольно повинаясь этому голосу, взялся за вожжи. Линейка тронулась, провожаемая одобрительными возгласами лавочников, ставших, по обыкновению людскому, тотчас на стороне победителя. Никогда еще сивка так прытко не бежала, будто из благодарности, что отплатили за многие ее страдания. С той поры Кузьма держал месть за пазухой.

Ване в то время, с которого начинается наш рассказ, едва минуло семь лет. Матери его Прасковье Михайловне было только двадцать четыре года. Максим Ильич взял ее из купеческого дома, который хотя был прежде очень богат, но расстроился вследствие разных торговых неудач. Она слыла первой красавицей в городе и хорошо это знала. Отец и мать баловали ее, единственное свое дитя, как ненаглядное сокровище. Всякая прихоть, каприз ее исполнялись как закон. С детского возраста она привыкла повелевать. Вырваться из смиренного круга, в который обстоятельства ее бросили, и стать на высшую, блестящую степень – было одним из самых горячих ее мечтаний. Властолюбивая дома, где все ходило по ее ниточке, она хотела и судьбу поставить на свою ногу. Девочка твердила, что выйдет за генерала. Увез же соседку,

красивую попову дочку, помещик, у которого тысяча душ, и женился на ней. Но генералов в кругу ее не оказывалось, да и не было ни перед ней, ни за ней богатой придачи, за которой превосходительные женихи гонятся более, чем за умом и красотой. Купеческих претендентов на ее руку, которых предлагали ей родители, иногда на коленях, было множество. «Вспомни, Парашенька, – говорили они, – ведь тебе шестнадцать лет. Твои погодки уж два года замужем, да и детей породили. Сраму, сраму-то не оберешься, как засидишься в девках». Прасковья Михайловна, утомленная этими мольбами, а еще более убежденная доводами няни своей, которая выводывала для нее все качества и недостатки женихов, решила осчастливить купеческого сына, Максима Ильича Пшеницына. Неужели его домик, смиренный, ветхий, мог прельстить гордую красавицу? Нет, она видела далее, она шла за богатые, блестящие надежды... Этот бедный домик должен был, рано или поздно, превратиться в роскошные палаты.

Грамоте Прасковья Михайловна плохо знала; она едва разбирала по складам песенки и ужасными каракульками подписывала свое имя; однако ж, цифры знала до ста тысяч. Она слыхала, что одна барыня, также безграмотная, имевшая дела с отцом ее, проводила за нос самых крючкотватых законников, могла рассказать, как лучший адвокат, содержание каждой деловой бумаги, и от небольшого наследственного состояния оставила своим детям несколько тысяч душ, да построила десяток каменных церквей. И у нашей купеческой дочки грамота была в голове, или она, по крайней мере, так думала. Муж ее, страстно влюбленный в нее, смотрел ей в глаза; свекор ласкал ее и называл своей любимой невесткой. К тому ж, всегда живя в Москве, он не мешал ее домашнему владычеству. Перешагнув из жилища от своего в жилище мужа, она только расширяла свое господство.

Максиму Ильичу было не более двадцати двух лет, когда он на ней женился. Он имел приятную наружность, сердце доброе, светлый ум и стремление к дворянской жизни, чему способствовали немало связи его отца, Бог знает как и когда сделанные, со многими знатными лицами того времени. При выборе его Прасковьей Михайловной склонило также весы на его сторону и то, что он и весь род его, со времени Петра Великого, ходили в немецком платье, что Пшеницыны ели серебряными, а не деревянными ложками, каждый со своего оловянного прибора, а не из общей семейной деревянной чаши, что они имели прислугу и кое-какой экипаж. Говорили, что этот род шел от новгородских именитых людей, которые, избежав казней во времена Иоанна Грозного, переселены им были в Холодную. Поэтому в фамилии Пшеницыных сохранилась какая-то наследственная, кровная гордость, которой не замечали в прочих смиренных обитателях Холодни. Во всех городских собраниях видали их всегда передовыми.

Надо прибавить, что Максим Ильич имел врожденное стремление к образованию себя. Случай развил еще более эту склонность. В одну из частых поездок своих в разные пределы России, которые он всякий год совершал по торговым делам, познакомился он где-то с *каким-то господином* Новиковым<sup>1</sup>: Новиков полюбил молодого человека, беседовал с ним часто о благах, доставляемых просвещением, и снабдил его списком всех книг и журналов, какие только были изданы на русском языке. Максим Ильич не замедлил купить эти книги и читал их с жадностью. К сожалению, в число их попала и нравственная контрабанда, которую умел искусно навязать ему книгопродавец: это был «Фоблаз» и несколько других подобных сочинений.

Когда красавица Пшеницына ехала в своей колеснице – покуда скромной, четвероугольной линейке, наподобие ящика, с порыжелыми кожаными фартуками, на сивой старой лошадке, с кривым кучером, и подле нее сидел ее миловидный сынок, – прохожие, мещане, купцы и даже городские власти низко кланялись ей. Приветливо, но свысока отвечала она на

---

<sup>1</sup> В *Семейной Хронике* Аксакова упомянуто, что переписка Новикова с Софьей Николаевной имела большое влияние на ее образование. Мудрено ли, что молодой Пшеницын, живя ближе к Москве, имел случай столкнуться с этим замечательным человеком, который своими беседами внушил ему любовь к просвещению? Нашлась бы, конечно, не одна сотня подобных фактов, если бы их вовремя собирать. Мы увидели бы тогда, как он обильно сеял Божие семя на русскую ниву. Почему в подлинном рассказе Ивана Максимовича Пшеницына назван Новиков *каким-то господином* – мне неизвестно.

их поклоны. В приходской церкви ей отведено было почетное место; священник подавал ей первой просвиру; все с уважением сторонились, когда она выходила из храма.

Опять спросим, отчего ж такой смиренный, ветхий домик, мрачно глядевший на пустыре, такой бедный экипаж и прислуга, и вместе такое общее уважение жителей Холодни к Пшеницыным? Загадка была легка; ее давно разгадала Прасковья Михайловна: отец мужа ее был – миллионер. Миллионер того времени!.. Максим Ильич имел еще брата, который жил в Москве. Старик богач здоровствовал. Он давал сыновьям на содержание только то, что ему вздумается, да и в том требовал отчета. Итак, жители кланялись богатым надеждам.

Ванин дедушка, Илья Максимович, широко торговал хлебом, производил значительные поставки в казну, которые едва ли не с начала XVIII столетия удерживались в роде Пшеницыных, имел серный завод в N губернии, фабрики парчовые и штофные в Холодне, несколько лавок для отдачи внаймы в этом городе и дома в нем и в Москве. Дела свои вел он деятельно, с точностью и честно; слову его верили более чем акту. Лет через двадцать после того, как начинается наш рассказ, случилось Ивану Максимовичу в одном обществе быть представленным сенатору и чрезвычайно богатому человеку, князю Д\* (умершему едва ли не столетним стариком). «Очень рад, очень рад с *вами* познакомиться, молодой человек, – сказал сенатор, положив руку на плечо Пшеницына. – Мы с *твоим* дедушкой были большие приятели, делали и дела немалые. Времена были не те, что ныне. Теперь дашь деньги и на актец, глядишь – пропадают, или получишь их с великими хлопотами да с помощью подьячих. Высосут у тебя мошенники не только деньги, но и кровь. С дедушкой твоим вели мы дела иные. Бывало, понадобится тысяч десяток, двадцать – и шлешь к нему цидулку: пришли-де, приятель, на такой-то срок. Или ему понадобится. Давали друг другу без расписки, на слово, и день в день получали обратно свои денежки. Все это стоило только одного спасибо. Да, да, – прибавил князь, вздыхая, – ныне времена другие».

Смутно помнил Иван Максимович, как пришла в Холодню весть, что скончалась «матушка Екатерина Алексеевна», как отец его побледнел и прослезился при этой вести, как в городе все ходили, повеся нос. Сначала думал Ваня, что умерла родная мать отца его. Но Максим Ильич сказал, что той давно уж нет на свете, а скончалась государыня, благодетельница русского народа. «Люби и уважай память ее во всю жизнь свою, да и детей своих, коли будут, учи тому ж», – сказал он и поставил Ваню пред иконой Спасителя и велел положить три земных поклона, со крестом, да приговаривать: «Спаси, Господи, и упокой душу рабы твоей императрицы Екатерины».

Между тем мечты Прасковьи Михайловны начинали осуществляться. Свекор писал ей, что он очень хворает, не встает с постели, и просил навестить его, так как муж ее в дальней отлучке. Хотя наступил февраль, на дворе были сильные морозы, – наскоро собралась она и поехала с сынком. Тогдашние холоденские ямщики дельвали в зимний путь сто верст, не кормя, в девять часов. Для скорости, чтобы поспеть в Москву в семь часов, она переменила лошадей на половине дороги, в Б...Х. В первом селе отсюда осадили кибитку рои девочек с криком: «Булавочку, барыня, пригожая!» – и едва ли не с версту бежали, запыхавшись, за булавочкой. В Островцах дали лошадям перехватить по ковшу воды. Пока ямщик занимался этим делом, кибитку обступила толпа, большей частью женщин и ребятишек. В числе молодых баб много было пригожих. Золотые кички крепко, как в тисках, стягивали их лбы, а сзади шеи, почти до плеч, упала блестящая стеклярусная сетка. У всех в ушах пестрели стеклярусные подвески и на шее такие же ожерелья; зачерствелые от работ пальцы унижены были медными перстнями и кольцами. Поступь их была важная и даже грациозная. Стан держался прямо, но юпочка, *понева*, из шерстяной клетчатой материи, похожей на шотландку, и подвязанная очень низко, с каждым шагом колебалась из стороны в сторону. Замечено, что на этот шаг из крестьянских кокеток есть особенные мастерицы. Много безобразила их обувь. Шерстяные толстые чулки в бесчисленных сборах спускались к котам, а у беднейших – к лаптям.

Сапоги по колено означали особенное внимание к ним мужей. Спусти с плеча левый рукав овчинного полушубка, обшитого у иных котиком, молодые бабы, большей частью, опирались на плечо своих подруг и лукаво пускали на проезжих стрелы своих карих или серых глаз. Похвалы их или критические заметки сопровождались рассыпным хохотом, иные мурлыкали про себя отрывки песен. Дети, несмотря на мороз, были в одной рубашонке (заметить надо, очень чистой). Издали многие из них казались ходячей огромной шапкой, клочком рубашки и двумя огромными сапогами. По сторонам каждого из этих движущихся чучелок мотались рукава рубашки, потому что руки у всех спрятаны были под пазухой. Прасковья Михайловна заметила, что в толпе женщин две молодки держали перед собой по одному мальчику в рубашонке, защищая их от холоду лапами своих шуб.

– Что, это ваши братишки? – спросила Прасковья Михайловна.

При этом вопросе в толпе послышался смех.

– Так неужели детки?

Тут уж разразился заливной хохот.

– Это мужья их! – закричало несколько голосов.

– Да сколько же им лет?

– Мужьям-то?

– Да.

– С Николы вешнего пошел четырнадцатый.

– А молодежи?

– А молодежи-то?

– Да.

– Одной без годика два десятка, а другой ровнехонько два.

Надо заметить, что этих молодых бабенок очень баловали свекры, налегая всей тяжестью черных работ на старых жен своих, которые также имели некогда свое счастливое время. Молодой невестке пряник или калачик из города, и кусочек зеркала, купленный у гуляки дворового человека, и, что считалось большой драгоценностью, – кусочек белого мыла. Старушкам был почет только для вида, при народе на улицах, а дома ставили их ни во что. Эта безнравственная очередь сменялась тогда с каждым новым поколением, пока не вышло благотельное постановление, чтобы не венчать мужчин прежде восемнадцати, а женщин прежде шестнадцати.

По случаю счета годов молодым бабам начались у них споры, потом причитания разных достопамятных эпох, ознаменовавших историю деревни. Тогда-то был пожар, Аксюшка родила уродца с собачьей головой, Сидорка ошпарился в бане, Емелька напился до того, что вороны клевали у него глаза, волки ходили по улице среди белого дня. Пошли упреки, брань, к молодежи присоединились старушки, к старушкам мужики. Война разгоралась... Но ямщик тронул лошадей... Колокольчик зазвенел, полозья засипели, оставляя за собой два пушистые, блестящие искрами, хвоста... Замелькали верстовые столбы, напудренные рощи, поля, покрытые саваном снегов, длинные деревни, бабы, достающие воду из колодцев, наподобие журавлей на одной ноге, мохнатые лошаденки и полинялые коровенки, утоляющие жажду из оледенелых колод, опять и опять ходячие чучелки в огромных шапках с заломом и в сапогах по брюхо или в лаптенках. Но не все это скоро затушеввалось. Завечерело на дворе; все предметы начали рябить в глазах и наконец потонули во мраке. Верстах в десяти от Москвы полный месяц затеплился на матовом небе и вскрыл прежнюю панораму, только при ночном освещении. Немного походя, разноцветная дуга обогнула месяц. «К добру!» – сказал Ларивон. «К морозу!» – прибавил ямщик и захлопал рукавичками. Прасковья Михайловна и Ваня не спали; мать потешала сына, указывая ему на живые картины зимы. То блеснет перед ними верста под хрусталем ледяной коры, то засверкает поле миллионами дрожащих искр, то сучья в роще, покрытые густым инеем, протянут над путешественниками или страусовое перо, или пушистое марабу, или освеженное гроздь; иногда словно шаловливый леший осыплет кибитку гор-

стями снегу. Среди глубокой тишины распевает один колокольчик, да разве ямщик, для отдыха лошадей – а может статься, непонятное ему чувство попросилось у него в груди наружу – затянет свою грустную, замирающую песнь, которая так тешит и щемит душу. Бьет колокольчик реже; кажется, все слушает: и поля, и рощи, и самый месяц на небе. Но вот рассыпался крик и гам ребятишек по деревне, ямщик молодецки окликнул своих коней-судариков, мелькнул ряд моргающих в окнах огоньков, и опять среди глубокой тишины распевает один колокольчик. Забелели две пирамиды, поперек их лег шлагбаум. Кибитка остановилась. Ларивон побежал в караульню, ямщик слез, чтобы подвязать болтливый язык у колокольчика; лошади отряхнулись, подняв от себя блестящую снежную пыль, фыркнули, причем ямщик каждый раз приговаривал: «Будь здоров!» – и стали чистить морды, запущенные снегом, то об оглобли, то о тулуп своего хозяина.

Тогда на заставах было очень строго. Прасковья Михайловна забыла запастись видом, который в прежние ее поездки в Москву никогда от нее не требовали, и ей приходилось поворачивать оглобли назад или ночевать в съезжем доме. Но целковый все уладил. «Подвысь!» – закричал целковый в виде засаленного сюртука с клюковым носом. «Подвысь!» – повторил бравый *ундер* архаровского полка, и Пшеницына с трепетом сердечным въехала в Москву, сотворив широкое крестное знамение. Подвязанный колокольчик молчал; ямщик, озираясь робко, повышал голос на лошадей; на улицах было пусто и жутко. Будто ехали по вымерзшему городу. Только изредка будочник постукивал в окно, чтобы гасили огни, хотя был только девятый час. На этот стук отзывался со дворов басистый лай собаки, и протяжно гремела ее тяжелая цепь.

Кибитка остановилась в Таганке, у каменного двухэтажного дома, белевшего среди длинных заборов. Нигде в нем не видать огонька. Доступ в старинные купеческие дома, особенно ночью, не менее труден, как в древние баронские замки, хотя нет около них ни рвов, ни мостов подъемных, ни рогатин. Ларивон нырнул в облаке пара, валившего от лошадей, и исчез. Тихо, сквозь железную решетку, застучал он в окно флигеля; тихо, сквозь форточку, опросил его голос. Вскоре без шума отворились ворота; будто из земли выступил маленький человечек, остриженный в кружок, в крашенинном халате, и впился в ручку Прасковьи Михайловны. Осторожно въехала тройка на двор. Тут пошли опять постукивания и переговоры на заднем крыльце. Наконец отворились двери в сени. Чернوبرовая девка с длинной косой до пят, с помощью фонаря осмотрев сонными глазами приезжих в лицо, повела их вверх по каменной, изрытой лестнице. И на лестнице, и в сенях чистота необыкновенная, какой и ныне с заднего хода не бывает во многих купеческих и даже дворянских домах. Посмотришь с улицы – палаты; с парадного входа все, как и быть должно, по регламенту палат: комнаты великолепно убранные; мебель, обитая бархатом, стоит чинно, по ранжиру; полы блестят, хоть глядись в них. Зайдите-ка с заднего крыльца – вам бросятся в глаза кучи сора, в которых и завитки огуречной кожи, и разбитая посуда, и пучки волос; тут же обледенелые потоки помоев, клочки рогожек на дверях и художнические эскизы мелом национальной школы живописи; вас обдаст удушливый запах, который пропитает в один миг вашу одежду. Зоркий глаз Ильи Максимовича, казалось, проникал и в самые потаенные углы; дом содержался в величайшем порядке и опрятности, как и все дела его. В верхних сенях встретили приезжих: малый лет двадцати с небольшим и мальчик лет шестнадцати, прилично одетые, и немолодая женщина в платке на голове, которого одно крыло было на отлете, как у птицы, когда она ото сна только что выправляется из гнезда. Все приложились к ручкам Прасковьи Михайловны и Вани, а женщина, сверх того, осыпала их разными олимпийскими эпитетами. В одной из проходных комнат стояла кровать с двумя или тремя перинами под ситцевым балдахинном. Она была пуста. Тут же от лежанки, за несколько шагов, пышал африканский жар, и на ней возлежала на заячьей шубке какая-то великолепная особа. Тяжело волновалась белая, пышная грудь, торчали две огромные ноги в синих шерстяных чулках с красными стрелками. Это было лицо без названия должности. В наше время назвали бы ее фавориткой. Она проснулась, но не удостоила приезжих словом.

Сама Прасковья Михайловна прошла около нее на цыпочках с подобающим уважением, зная, что такие именно особы обладают волшебным жезлом покровительства.

Не хотели тревожить Илью Максимовича, но чуткое ухо его слышало прибытие гостей. Накрывшись малиновым штофным одеялом, он велел позвать к себе Прасковью Михайловну. Это был старик лет семидесяти пяти, мощно построенный. Только недавно стал он поддаваться немочам и вдруг свалился в постель. Как дитя, обрадовался он приезду любимой невестки, не дал он руки своей, к которой она хотела было приложиться, нежно обнял ее и осыпал ласками мать и сына.

Прасковья Михайловна поместилась в ближайшей от него комнате, сделалась постоянно сиделкою у постели его, вставала по ночам, чтобы дать ему пить – лекарства он не хотел принимать, – утешала его своими рассказами и ласками. Ваня помогал матери развеселить старика. Фаворитке сделано было от Пшеницыной два-три приятные ей подарка и приобретено ее любезное внимание.

Раз, когда старик был в особенно приятном расположении духа и тела, он подозвал к себе Прасковью Михайловну. Время было вечернее; несколько серебряных лампад теплились перед иконами в золотых ризах, украшенных жемчугом и драгоценными камнями.

– Поди сюда, Параша, – сказал он и, когда та подошла к нему, ласково потрепал ее по розовой щечке. – Спасибо тебе, что старика не обездолила. Но спасибо сыт не будешь... Вот ключ – отопри-ка и выдвинь верхний ящик.

Тут вынул он из-под подушки ключ, передал его невестке и указал на комод, стоявший у кровати...

Прасковья Михайловна дрожа спешила исполнить это приказание. И что ж она увидела? Одна сторона ящика была набита кипами ассигнаций, синеньких, красненьких и беленьких, перевязанных тонкими бечевками, а на другой стороне лежали холстинные пузатые мешочки; сквозь редину их и дырочки кое-где вспыхивал жар золота. Молодая женщина никогда не видала такого наличного богатства; она то краснела, то бледнела и растеряла глаза свои.

Улыбка самодовольствия пробежала по губам старика: он радовался смущению невестки, которую, как дитя, взманил дорогою игрушкой.

– Все мое, Параша! – сказал он торжественным голосом и привстал с постели. Огромная тень от него покрыла молодую женщину и легла на стену. Старик был высокого роста, но ей показалось, что он еще вырос в эту минуту и занял собою всю комнату. Свет от лампад засиял на голом черепе его, окаймленном венцом серебряных волос. – Все мое! – повторил он, – да еще столько же в верхнем и нижнем ящиках. А меди в кладовой едва ль не до потолка. Все это будет *ваше*... (тут он остановился немного и перекрестился), когда Богу угодно будет позвать меня в другую сторону. Там ничего этого не нужно. Честно, трудами нажито, благодарение Богу! Не с неба, как у иных, упало на меня богатство: отец и дед наживали, я приумножил. Не из Гуслицких лесов пришли ко мне капиталы; не топил я пустых барок – будто с казенною кладью, не удерживал у рабочих трудовых денег, не шильничал... но и не мотал. И вам завещаю то же. Ты знаешь, в чести ли я у своей братии; знаешь, что и господа знатные водят со мною хлеб-соль и жалуют меня своим приятством. А?..

– Знаю, батюшка.

– Думаешь, это мне так кланяются, мне так усердствуют? Нет, вот этим бумажкам, вот этому серебру и золоту, что в мешочках дрянных лежат. Сберегите это без жадности... Почему ж человеку и не потешиться Божьими дарами без вреда себе и людям? На то и дарами Божьими называются. Но, говорю вам, не мотайте. Сберегите мое наследство с добрым смыслом, с умным хозяйством, собственным глазом, и вам от малых и больших будет также почет. Не послушаетесь меня, вам же будет худо. Расточите добро, так все ваши друзья и лизоблюды побегут от вас, да над вами же будут насмехаться. Кругом вас останется мерзость запустения. Слышишь, Прасковья Михайловна?

– Слышу, батюшка.

– Ванюшку учите добру, порядку и хозяйству; пожалуй, учите и наукам, да только таким, какие пригодны купцу. По мне, довольно бы грамоте русской и арифметике, да не моя воля!.. А воля-то, словно Божья, нагрянула на меня от матушки Екатерины Алексеевны. Премудрая была, дай ей Господи царствие небесное! Она это дело знала лучше меня. Сама из уст своих приказала.

– Разве вы с государыней говорили? – спросила Прасковья Михайловна.

– Осчастливлен был-таки, сударыня моя.

Старик сделал особенное ударение на этих словах и продолжал:

– Вот как было дело. В запрошлом лете ездил я с депутацией нашей братии купцов в Питер. Позваны были во дворец и допущены к ручке императрицы. Сначала струсил было я, да как повела она на нас своими ласковыми очами, так откуда взялась речь, помолодел десятилетия двумя годов и стал с ней говорить, будто с матерью родной. Завела она с нами речь о разных торговых делах, со мной особь о парчовой и штофной фабрике, о серном заводе. Такая дотошная, все знала, будто сама при всяком деле была. Потом изволила спросить меня: «Есть у тебя дети, Пшеницын?» – (Тут старик опять сделал ударение на своей фамилии). «Есть, говорю я, два сынка, матушка ваше императорское величество». – «А учил ты их?» – изволила опять спросить. – «Грамоте-де русской знают да счета бойко, а меньший больно любит книги: не мешаю». – «Хорошо, а внуки есть?» – «И внуками двумя благословил Господь; еще малые». – «Так их учи. Учение свет, а неучение тьма, а свет, знаешь сам, всему миру на добро. Не все иностранным купцам ездить к нам за нашим же товаром на своих кораблях. Пора и нам в широкое море, на русских суденышках; пора и нам стать с ними по плечо не только силою оружия, да и разумом, да и наукой. Учи своих внуков, старик; этим докажешь, что вы истинные дети мои и недаром называете меня своею матерью». – Вот что говорила мне матушка-царица. И я скажу тебе по завету ее: учите Ванюшку, да только чтоб было впрок, не на ветер... Пускай учится кораблики строить, пожалуй, и сам кораблик свой снарядит, да назовет его *дедушка Пшеницын*, ха, хе-хе! Пускай гуляет наше имя по широким морям и чужим берегам!.. (Глаза у старика загорелись необычайным блеском; он протянул перед собою руку, на которой выпукло изваяны были мускулы, и раздвинутыми пальцами широкой руки тянулся будто схватить сокровище в неведомых морях.) Но смотрите... не вздумайте его в офицеры. Чтобы он у меня оставался купцом! Слышишь, купцом! Я этого хочу, – довершил старик грозным, властительным голосом, и огромная тень его заколебалась на стене.

– Слушаю, батюшка, – отвечала Прасковья Михайловна дрожащим голосом, стоя все у открытого комода, и робко потупила глаза.

Старик, как бы утомленный, прилег на подушку, но вскоре спросил тихо и ласково:

– А хоромины, чай, у вас плохи, Параша?

– Стареньки, батюшка, в большой дождик сквозь потолок течет.

– Нечего скважины затыкать. Вот хоть мою старую хламиду как ни чини, а все развалится скоро. Вы с мужем люди молодые, вам и житье надо новое. Отодвинь-ка еще ящик... Впереди не тронь. Не смотри, что смазливы цветом, все ребятишки, дрянь, хе, хе, хе!.. Запусти-ка ручку подальше, в темный уголок... там все сотенные бояре!.. Даром что старички, можно около них погреться... Возьми стопочки две. Да, знаешь, чтобы не дразнить дорогой недоброго человека, зашей под поясом. Бери же, дурочка.

Дрожащими руками взяла молодая женщина две кипы ассигнаций там, где указывал свекор; на ярлыках каждой написано было: десять тысяч. Она взглянула на надписи и, показав Илье Максимовичу, промолвила: – Не много ли, батюшка?

– Что взято, то взято, – сказал старик ухмыляясь, – слушай: как приедешь домой, пошли от мужа Ларьку к хозяевам пустыря, что на Московской большой улице, против Иоанна Божьего слова... дескать, твой муж накидывает за места со старую рухлядь сто рублей против того,

что я давал. Люди в нужде, обижать не надо. Максим приедет, купчую совершите. Простору много – целый квартал, стройте, что вздумается, да чтоб было все каменное, вековое. Знай, что дома Пшеницыных!.. А как заложите хоромы, так я новорожденному пришлю на зубок еще стопочки три седеньких старичков... чтобы рос скорее.

Невестка хотела поцеловать руку у свекра, но тот не дал руки, а поцеловал ее в малиновые губки, как сам их называл.

– Да куда Ванюшка запропастился? Позовите его ко мне.

Позвали Ваню, которого также очень любил старик. Он указал ему на выдвинутый ящик комода.

– Помнишь, поросенок, – сказал он, – считал ты со мною все шиши да шиши? (Ваня в первые годы своего детства называл так тысячи, которые перебирал с дедом на счетах.) Возьми, что полюбится; ведь ты также ухаживал за стариком.

Ваня заглянул в ящик и с неудовольствием сказал:

– Вишь какой деда, бумажками потчует; мне давай золотых арабчиков.

– Нечего делать с дурачком; развяжи, Параша, первый мешочек-то налево, с краю, *все супротивни*<sup>2</sup>. Пускай хватает горсткой и сыплет себе в карманы, что наберется. Слышь, на эти деньги ему особую горенку, да чтоб штофом вся была обита – не покупать стать, с своей фабрики.

Прасковья Михайловна развязала мешочек, указанный свекром; из него полился блестящий поток империалов. Ваня захватил горстью, что могло в ней набраться, и сказал:

– Довольно.

– Не жаден будет, – заметил старик. Мать сочла деньги, прибавив:

– Чтоб не растерял! – Это действие видимо понравилось старику. Он сказал ей спасибо, да кстати приказал ей заштопать дырочки, оказавшиеся в мешочках.

Долго не могла заснуть молодая женщина, строя в мечтах своих палаты на пустыре. В Холодне было много каменных двухэтажных домов, но она хотела поставить дом на удивление всем. И во сне снились ей волшебные замки из литого золота, с такими причудливыми затеями, какие только рассказываются в сказках или из воска выливаются на святочных вечерах; снился ей также какой-то сказочный царевич у ног ее. Прасковья Михайловна прожила с лишком три недели у свекра, в том числе и масленицу, и стала скучать. Она горела нетерпением отвезть домой начатки своего богатства; казалось ей, в доме свекра они еще не принадлежали ей. Между тем Илья Максимович старался сделать как можно приятнее ее пребывание у него: давал ей своих рысаков для катания к ледяным горам и к бегу, которые тогда на Москве-реке кипели народом; заставлял молодого слугу и мальчика играть камедь – чьего сочинения, неизвестно. Старшее лицо представляло мельника-колдуна, обсыпанного мукой, в седом парике и с бородой из конских волос; младшее исполняло роль дурачка-угольщика. В этом игрище было много народного юмору, пересыпанного, однако ж, такими непристойными остротами, что Прасковья Михайловна просила скорее прекратить эту мужицкую забаву, как она назвала ее. Это очень удивило всю дворню, и немудрено. В то время, и даже до десятых годов XIX столетия, в Москве без «мельника и угольщика» не обходилась почти ни одна богатая купеческая свадьба или пирушка. Наштукатуренные и черно-зубые купчихи, подгулявши (заметьте, они считали за величайший стыд и порок пить вино при мужчинах, но удалялись в особенную потаенную горенку вкушать его под именем меда), заливали остроты скоморохов простодушным хохотом, а иногда, за перегородкой, награждали ловкого колдуна и тайным поцелуем. За комедией выступал обыкновенно доморощенный трубадур с бандурой, с песнями и пляской. Дивные штуки выделял он ногами, да и каждая косточка в нем говорила. А как подскочит

---

<sup>2</sup> Так звали империалы времен Елизаветы и Екатерины, которых грудные изображения чеканились на монетах с правой и с левой стороны, как бы одно против другого.



под самый нос пригожей купчихи, поведет плечом, на которое вскинет клетчатый платок, и обдаст ее, как кипятком, молодецким спросом: «аль не любишь?» – так восторгу не было конца. Но венцом его искусства был какой-то *сальтомортале*: на всем скаку раздвинет ноги вперед и назад и упадет на них так страшно, что, казалось, должен был бы разодраться пополам, а он понемногу, как стрела, станет опять на ноги. Зато, когда артисты, окончив представление, обходили зрителей с тарелкой в руках, со всех сторон сыпались на нее щедрые дары мелкою и крупной серебряной монетой, между которою попадалась иногда и золотая.

Любил Илья Максимович тешить себя и честолюбивую невестку рассказами о связях своих с тогдашними знатными господами, о том, как они живут, да как убраны у них палаты, как он обращался с ними уважительно, да и себя не ронял, а тех, которые вышли из подъячих, да зазнались, дразнил игрою своего миллиончика или намеком на нечистое дельце. Гордился он очень знакомством своим с графом Алексеем Григорьевичем Орловым. «Вот русский боярин! алмаз-боярин! – говаривал он. – Посыпьте перед ним дорожку золотом, да по грязи, не захочет замарать рук своих, чтобы подбирать их. Не то что какой-нибудь шематон, изроет целую навозную кучу, чтоб достать червончик, да еще подумает, нельзя ли из навозу сделать золота. И осанкою, и мощью, и духом, всем взял! Стоит на кулачном бою промеж черного народа, а тотчас видно, что боярин! Кажись, ласков и с малым ребенком, а глазами поведет, так поневоле хватаешься за шапку».

– А знаешь ли, Прасковья Михайловна! – прибавил Илья Максимович, – в прошедшем лете не погнушался в гости к моему Гаврюшке. (Тут указал он на Ларивонова старшего брата, остриженного в кружок, в чуйке из зеленого порыжелого бархата с цветочными дорожками, в галстук, затянутом наподобие ошейника.) Проведал как-то граф, что у него диковинный голубь – турман, что ли, пес их знает – да и приехал с приятелями посмотреть. «Я, – говорит, – не к Илье Максимовичу, а к Гавриле его». Уж и потешил Гаврюшка мой важного гостя! Понесся голубь воронкой все выше и выше, забил крылышками, словно двумя серебряными листиками, потом стал в небе пятнышком не более гроша, да и пропал... Навели трубу, и в нее не видать! Думал я, уж не ястреб ли скушал. А голубь вдруг замелькал в высоте поднебесной и стал словно клубочек, разматываться, разматываться, да как падет сверху кувырком, примером сажень пятьдесят, и бряк оземь, прямо к ногам его сиятельства. Все диву дались и захлопали в ладоши. Граф вынул из кошелька штук пять золотых, отдал их этому дураку, да погладил его по голове. Да вот и возгордился Гаврюшка, – прибавил Илья Максимович, – надел ныне бархатную чуйку. Подарил ведь с плеч своих. Кажись, будни.

– Для Прасковьи Михайловны, батюшка, Илья Максимович, – сказал человек, остриженный в кружок.

– Чай, своя! Смотри, брат, не заламывайся; знаешь, не люблю мотовства. У меня, Параша, вот какой обычай. Припадет кому из них охота до чего – возьми у меня, сколько угодно, на развод; да только, чтоб впрок шло, и назад долг отдай. Гаврюшка к голубям пристрастился: на, купи, брат, голубей, да чтоб не были дрянь, отборных. Вот и купил, и богат стал от голубей, и долг отдал. Так и мельнику-бандуристу дал на струмент и дурацкую одежду: впрок пошло – молчу и по головке поглаживаю. А зашалит да замотает, так у меня разом полетит на завод нюхать серу. А кстати, Гаврюшка, из какой заморской стороны добывают много серы?

– Цыцыла, – отвечал Гаврила.

– Ха-ха-ха! Цецилия, говорил я тебе; Цецилия, дурак! Ведь я сам, Параша, учился, неравно спросит по серному заводу матушка-императрица.

И Прасковья Михайловна, чтобы угодить на случай старику, твердила про себя имя заморской страны Цецилии, откуда добывают много серы.

На конце первой недели великого поста Илья Максимович, чувствуя себя гораздо лучше, так что мог бродить по комнатам, и заметив по лицу Прасковьи Михайловны, что в гостях хорошо, а дома лучше, благословил ее на возвратный путь. Собрались уже после обеда.

«Смотри, душа моя, ночуй в Люберцах, – говорил он, провожая невестку, – а то в Волчьих Воротах шалят».

Кто ездил по холоденской дороге, тот не мог не заметить на возвышенной равнине, за двадцать верст с небольшим от Москвы, несколько вправо от дороги, одинокую сосну, вероятно, пережившую целый век. Так как окрестные жители искони хранят к этому дереву особенное благоговение и не запахивают корней его, то оно свободно раздвинуло кругом на несколько саженей свои жилистые сучья, из которых образовалась мохнатая шапка. В тени ее могут укрыться несколько десятков человек. Видно, она стала тяжела старому богатырю, и он кверху несколько согнул под нею свой стан. Это дерево подало Мерзлякову мысль написать известную песню:

Среди долины ровныя на гладкой высоте  
Стоит, растет высокий дуб в могучей красоте.

Она была во времена оны в таком же ходу по всей Руси, как «Черная шаль» Пушкина. Только по самоуправству поэтическому сосна превращена в дуб.

Когда с сосной поравнялась кибитка, в которой ехала Прасковья Михайловна с двумя сокровищами – сыном и богатым подарком свекра, уж начинало темнеть. Предметы стали сливаться; только одинокое дерево в своей черной, мохнатой шапке господствовало над снежной равниной. Ветер наигрывал в его сучьях какую-то заунывную мелодию и взметал около него снежный круг. Показалась деревня *Теряевка*. Вся она из четырех, пяти дворов, без улицы. Избы наподобие свиных клетухов, солома на крышах взъерошенная, как волосы у пьяного мужика, кругом поваленные и прорванные плетни, дворы без покрышки – все это худо говорило о довольстве и нравственности жителей. Сквозь маленькие окна, заткнутые кое-где грязными тряпицами, заморгали подслеповатые огоньки. Ветер колотил по крышам не утвержденные на них жерди. Одно имя Теряевки звучит недобрым смыслом, и недаром: сюда переселены были из каких-то дальних поместий избранные негодяи; ввиду – деревня Волчьи Ворота, где не один прохожий и проезжий потерял свое добро и свою голову. Сделалась темь, только что чертям за волосы драться. У крайней избы, вросшей в землю, послышался какой-то зловещий свист. Этому свисту отвечали далеко впереди. Сердце дрогнуло и сильнее забилося у ямщика, Ларивона и молодой купчихи. Ямщик толкнул слугу и стал с ним перешептываться, слуга взглянул на госпожу свою. Ваня спал крепким сном возле матери. Тут вспомнила Прасковья Михайловна слова свекра и поздно раскаялась, что не послушалась его совета ночевать в Люберцах. Лишиться такой важной суммы, какую она везла, может быть, видеть, как зарежут сына ее, и умереть самой во цвете лет, с такими блестящими надеждами, под ножом разбойника... – подумала она, и вся кровь ее прилила к сердцу.

– Голубчик, Ларивон, худо? – спросила она, – не воротиться ли назад?

– Что назад! – перехватил ямщик. – До Островцов рукой подать, а назад до первой деревни добрых пять верст. Не ночевать же в разбойничьей Теряевке!

– Сотворите крестное знамение, барыня, – сказал Ларивон, – Бог милостив. У меня мушкетон, а в случае нужды на подмогу топор.

– Дай мне топор, – сказала она.

– Пожалуй, да что вы с ним сделаете?

– Что смогу.

Она приняла тяжелое орудие, но не могла сдержать его и положила возле себя. Ларивон, осмотрев мушкетон, посыпал пороху на полку из патрона, который вынул из-за пазухи.

Ямщик поехал шагом... Как будто в лад общему настроению, и колокольчик робко зазвонел.

– Пошел! – закричала молодая женщина, – ты уж с ними не заодно ль? Первому тебе этот топор.

– Не мешай, барыня, – отвечал сердито ямщик, выхватил из кибитки топор и положил его в свое сиденье, – не твое дело. Разбуди-ка лучше дитя, чтобы не испугался.

Потом снял шапку, перекрестился и промолвил:

– С крестом худых дел не делают.

Мать, невольно повинувшись ямщику, разбудила ребенка.

– А что, приехали? – спросил Ваня, встрепенувшись и протирая глаза.

– Нет еще, а близко... услышишь, может, крик... не пугайся... это ямщик хочет вперегонку с знакомым ямщиком.

– Где ж, мама?

– Впереди, голубчик, тебе не видать за лошаадьми.

Продолжали ехать шагом... колокольчик нет-нет звякнет, да и застонет... Уж чернел мост в овраге; на конце его что-то шевелилось... За мостом – горка, далее мрачный лес; в него надо было въезжать через какие-то ворота: их образовали встретившиеся с двух сторон ветви нескольких вековых сосен. Мать левою рукою прижала к себе сына, правую сотворила опять крестное знамение.

– Теперь держитесь крепко, – сказал ямщик и гаркнул изо всей мочи: – Эй! соколики! выручайте, грабят!..

В голосе его было что-то дикое, отчаянное; казалось, лес вздрогнул от этого крика и повторил его в бесчисленных перекатах. Лошади, и без принуждения привыкшие выносить в гору так, что не было еще человека, который мог бы удержать их на подобных выносах, рванулись и помчались, будто бешеные. Что-то крякнуло на мосту, полетели куски жерди, которою он был загорожен, кто-то застонал... порвалась бранная речь, перехваченная ветром... Все эти звуки следовали один за другим по мгновениям ока так, что чуткое ухо сидевших в кибитке, ловившее малейший признак опасности, могло смутно различить их. Кибитка взлетела на горку и понеслась будто по воздуху. Между тем что-то ударило в волчок кибитки и раздробило его верхушку, послышался ружейный выстрел... Ваня закричал и прижался к матери. Разъяренных коней не могли удержать ближе Островцов.

В деревне отрадно забежали со всех сторон огоньки в фонарях и обступили кибитку; послышались ласковые голоса, приглашавшие проезжих переночевать и обольщавшие ямщика и дешевым кормом, и крупчатыми папушниками с липовым медом. Он угрюмо молчал и въехал в знакомый постоялый двор. Пар от лошадей застлал двор.

Кибитка подъехала к чистому крылечку, устланному соломой. На нем старушка с добродушным лицом встретила приезжих и осветила им дорогу фонарем. Горенка, в которую они вошли, налитая смоляным запахом от стен только перелетовавших, была чистая и теплая; свет от лампы, теплившейся перед иконами, обдал их каким-то благодатным чувством. Первым делом Прасковьи Михайловны было броситься на колени и со слезами благодарить Господа за спасение ее с сыном; Ваня сделал то же по ее приказанию. Она была бледна, наскоро оправилась и за самоваром почти забыла только что минувшую беду.

Вошел ямщик, сердитый, угрюмый, почесал голову и с досадой бросил свою шапку на залавок.

– Ну, барыня, – сказал он, – крепко обидела ты меня... поусумнилась во мне...

– Прости мне, голубчик мой, – перебила Прасковья Михайловна, – не в своем разуме была... сам посуди, возле меня дитя... один только и есть... ведь и у тебя, чай, дети.

И слезы помутили глаза молодой женщины.

– Кабы не этот мальчуган, не бессудь – закаялся бы во веки веков возить тебя по дорогам. Ну, да ты добрая барыня (тут ямщик махнул рукой); на тебя и зла нет!.. А все-таки лошадок полечить надо, да и мне не худо отвезть душу.

Прасковья Михайловна вынула из кошелька, висевшего у ней на груди, два имперIALа из Ваниных денег и отдала ямщику. Мальчик знал, что эти деньги ему подарены, и весело смотрел, как отдавали их.

– А что лошадки, не больно ли ушиблись? – спросила она.

– Благо разбойничья жердь пришла в упор хомутам... царапины есть на всех, одна похрамывает, да Бог не без милости!.. А коли зачехнут, знаю, не обидишь меня. Пшеницыны по Холодне первые люди, а ты краля холодненская.

– Вот тебе Господь свидетель (и она указала на образ), если случится беда какая, приходи ко мне прямо... я поставлю тебе тройку таких же лихих лошадей. А для чего вырвал ты у меня топор? – прибавила Прасковья Михайловна.

– Неравно померещилась бы тебе невесть какая напасть... у страха глаза велики, бес лукав... да пришла бы тебе блажь хватить меня топором. Убить бы не убила... где тебе!.. а шкуру бы испортила. Вот тут уж разбойнички сделали бы свое дело.

Расхоталась молодая женщина, и мир был заключен.

В Островцах она давала как-то в долг богатому мужику на свадьбу двадцать пять рублей. Обещался отдать через неделю; божился всеми угодниками, клялся и детьми и утробой своей. Прошло месяца два. Теперь был случай получить деньги. Но много труда и ходьбы взад и вперед стоило Ларивону, чтобы вытянуть эти деньги. Да и тут должник, отдавая их Прасковье Михайловне, вместо благодарности, почесал себе голову и примолвил: «А что ж, барыня? надо бы на водку».

Приехали в Холодню, в старый, бедный домик. Казалось, после поездки в Москву он сделался еще древнее и сумрачнее, еще болееросло на него моху, который выступил из-под снега, уже много сбежавшего. Но вскоре возвратился из своих странствований Максим Ильич. Свидание молодых супругов было самое нежное. Прасковья Михайловна рассказала мужу, с каким успехом съездила она в Москву и какому страху подвергалась на возвратном пути в Волчьих Воротах. В свою очередь, муж рассказал ей, как за несколько лет тому назад, в плавание его с караваном судов по Волге, в Кос – ой губернии, напала на него шайка разбойников, а атаманом у них был князь К – ий. Этот князь имел дом, в виде замка с башнями, на берегу реки, и занимался с своею дворнею грабежом проходящих судов. Молодой Пшеницын отделался от него страхом и несколькими сотнями рублей<sup>3</sup>.

Место под новый дом тотчас было куплено, спешно началась заготовка под него материалов. Оно занимало почти целый квартал и выходило на три улицы. Было где разгуляться капиталам Ильи Максимовича! Закипела работа, и в марте потянулись к пустырю целые обозы с лесом, камнем и кирпичом; застучали сотни топоров, ломы начали шевелить остов одряхлевшего, давно не обитаемого дома; с писком и криком высыпали из него стаи встревоженных нетопырей и галок. Эта постройка составила важную эпоху в городе, едва ли не равную с построением кремля. Толпы народа ходили глазеть на нее, как на необыкновенное зрелище. Каждый толковал о ней по-своему; домостроительным фантазиям этих прожектеров не было конца. Иной возводил здание едва ли не с Ивана Великого, другой вытягивал его сплошь на все три улицы. С этого времени жители еще ниже кланялись семейству Пшеницыных. Но добрый Максим Ильич не переменялся к своим согражданам: был так же ласков и общителен с ними, как и прежде всегда. Только, не знаю почему, стал на *ты* с властями, которые с ним были на *ты*, хотя и прежде не унижался перед ними, но не выходил из церемониального *вы*. Странно, и власти не обижались этой переменной, водворявшие равенство между дворянином и купцом.

Между тем родители Вани вспомнили, что пора ему приняться за учение. Приходский священник взялся за это дело, и вскоре обрадовал отца и мать, что ученик прошел без наказа-

---

<sup>3</sup> Сам внук князя К – аго, молодой человек, очень образованный, подтвердил мне все это в 1836 году.

ния букварь в один месяц, когда он сам в детстве употреблял на это целый год с неоднократными побуждениями лозы.

В Холодне, кроме тревожной постройки дома Пшеницыных, ничто не изменяло мертвой тишины города. По-прежнему нарушалась эта тишина мерными ударами валька по мокрому белью и гоготанием гусей на речке; по-прежнему били на бойнях тысячи длиннорогих волов, солили мясо, топили сало, выделявали кожи и отправляли все это в Англию; по-прежнему, в базарные дни, среди атмосферы, пропитанной сильным запахом дегтя, скрипели на рынках сотни возов с сельскими продуктами и изделиями, и меж ними сновали, обнимались и дрались пьяные мужики. По воскресным дням толпы отчаливали к городскому кладбищу, чтобы полюбоваться на земле покойников очень живыми кулачными боями. Пузатые купцы, как и прежде, после чаепития упражнялись в своих торговых делах, в полдень ели редьку, хлебали деревянными или оловянными ложками щи, на которых плавало по вершку сала, и упысывали гречневую кашу пополам с маслом. После обеда, вместо кейфа, беседовали немного с высшими силами, т. е. пускали к небу из воронки рта струи воздуха, потом погружались в сон праведных. Выбравшись из-под тулупа и с лона трехэтажных перин, а иногда с войлока на огненной лежанке, будто из банного пара, в несколько приемов осушали по жбану пива, только что принесенного со льду; опять кейфовали, немного погодя принимались за самовар в бочонок, потом за ужин с редькой, щами и кашей, и опять утопали в лоне трехэтажных перин. Как видите, жизнь патриархальная! Немногие избранные отступали от нее. Книжки в доме ни одной, разве какой-нибудь отщепенец-сынок, от которого родители не ожидали проку, тайком от них, где-нибудь на сеннике, теребил по складам замасленный песенник или сказки про Илью Муромца и Бову Королевича. Ныне уж не то: мотишка-сынок, тайком от отца, читает «Вечного жида», курит дорогие сигары и пьет напропалую шампанское.

Прекрасный пол в Холодне имел тоже свои умильные забавы. Купчихи езжали друг к другу в гости. Посещения эти начинались киванием головы, как у глиняных кошечек, когда их раскачивают, и прикладыванием уст к устам. Затем усаживались чинно, словно немые гости на наших театральных подмостках; следовали угощения на двадцати очередных тарелках с вареньями, пастилою и орехами разных пород. При этом неминуемо соблюдалась китайская церемония бесчисленных отказов и неотступного потчивания с поклонами и просьбою *познудитъся*. Кукольная беседа нарушалась только пощелкиванием орешков и оканчивалась такими же китайскими церемониями, с прошением впредь жаловать и не *бессудить* на угощение. И возвращались гости домой, довольные, что видели новые лица, подышали на улице свежим воздухом и свободой!

Надо оговорить, к чести граждан, что чистота нравов, несмотря на грубую оболочку, крепко соблюдалась между ними. Хлебосольством искони славился город. Когда стояли в нем полки, мундиры у солдат, через несколько месяцев, делались узки, и считалось обидой для зажиточного хозяина, если постоялец его офицер держал свой чай и свой стол.

В городе ни одного трактира. Они появились только незадолго до двенадцатого года. Да и то купеческие детки, даже сначала мещанские, ходили в них тайком, перелезая через заборы и пробираясь задними лестницами, под страхом телесного наказания или проклятия отцовского. С того времени ни одна отрасль промышленности не сделала у нас такого быстрого успеха, и вы теперь не только в Холодне, но и по дороге к ней от Москвы, почти в каждой деревне, найдете дом под вывескою елки, трактир и харчевню.

Случались, однако ж, в городе важные происшествия, возмущавшие спокойствие целого населения. То появлялся оборотень, который по ночам бегал в виде огромной свиньи, ранил и обдирали клыками прохожих; то судья в нетрезвом виде въезжал верхом на лошади и без приключений съезжал по лесам строившегося двухэтажного дома; то зарезывался казначей, обворовавший казначейство. Полицейские личности в городе были то смирные, то сердитые; большей частью их отличали не по уму и честности, а по степени огня в крови; но, во всяком

случае, они приходились по городу, как домовый, по народному поверью, всегда люб во всяком жилье, хотя бы и проказничал над своими жильцами. Администрация и суд творились в духе патриархальном, без большого поощрения бумажной фабрикацией. Дела, по обыкновению, делались через секретарей. Подьячие довольствовались малым и брали больше за исполнение, нежели за обещания, жили умеренно, экипажей и лошадей не знавали, жен и любимиц своих не одевали, как богатых барынь, и не прикасались устами к струям шипучей ипокрены, хотя и можно было дешево черпать из нее на Арбате под вывеской: *здесь делают самое лучшее шампанское*. В Холодне не сказали бы того, что я слышал лет десять тому назад в одном уездном городе от продавца вин, у которого спрашивал шампанского: «А что, батюшка, будем мы делать, когда вдова Клико помрет?» Пили, правда, много, очень много, но с патриотизмом – все свое доморощенное: целебные настойки под именами великих россиян, обессмертивших себя сочинением этих напитков наравне с изобретателями железных дорог и электрических телеграфов, и наливки разных цветов по теням ягод, начиная от янтарного до темно-фиолетового.

Были однако ж в городе замечательные личности, и мы обязаны посвятить им особенную тетрадь.

Веснадохнула на землю своим теплом и благоуханием, накинула зеленую сетку на рощи, ковры на луга, заговорила лепетом своих ручьев и шумною речью своих водопадов, запела песнями любви и свободы своих крылатых гостей. Пришло и лето. Ваня, в сопровождении Ларивона, посетил прежние любимые места свои; по-прежнему отзывалось в его сердце сердечное биение природы. Но не так часто уж гулял он: Ваня полюбил *книгу*.

Между тем дом Пшеницына рос не по дням, а по часам. Из ветхого каменного здания между тем сколотили домик, на который надстроили деревянный этаж. Верхний должен был служить для временного житья самих владельцев, нижний назначался для служб. Флигель этот с выведенным уже вчерне большим каменным двухэтажным домом, соединили галереей на арке. В нижнем этаже этого дома устроили с одной стороны две огромные кладовые, а с другой – две большие комнаты: одну для залы, а другую для Вани. Пшеницыны хотели переезжать на новое жилище, когда получили с нарочным известие, что Илья Максимович умирает.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.